

Подсказатель Хвостика

ТОЛЬКО
на
ЛИТРЕС

**АЛЕКСЕЙ
МИРАШОВ**



Алексей Иванов
Победитель Хвостика

«Автор»

2020

Иванов А. В.

Победитель Хвостика / А. В. Иванов — «Автор», 2020

Повесть о том, как на захолустной биостанции, изнывая от чепухи, младшие научные сотрудники варили приворотное зелье. На кой черт мир должен знать подробности этой драматической истории? А он и не должен. И никто не должен. Это всё просто так. Просто молодость, когда времени и сил хватает даже на несусветную ерунду. Просто три великих «Л» – любовь, лето и литература.

© Иванов А. В., 2020

© Автор, 2020

Содержание

Маза и биостанция	5
Злобные недоумки	8
Маза и хоргобионты	11
Маза и ведьмаки	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Алексей Иванов

Победитель хвостика

И я говорю:

«Спасибо за эту радость...»

БГ

Маза и биостанция

Я знаю ваш секрет: вы меня не любите. Да вы и сами-то мне противны так, что я на вас и смотреть не могу.

По такой жаре автобус едет с открытыми люками в крыше и с раздвинутыми стеклами в окнах, вот в окно-то я и уставился. Деревья изнуренно трясутся за придорожными канавами, потому что асфальт на этой дороге лежит буграми и ямами, и шоссе дергается под колесами. За дырявым листовенным сводом по заржавевшему небу подобно уютюгу едет тяжелое, бьющее зноем солнце.

Задавленный толпой, я, отвернувшись от всех, стою на задней площадке. Тетрадь, которую я всегда таскаю с собой на пузе, от толчков съехала глубоко в штаны. За последний месяц она изрядно похудела и засалилась. Я начинал писать роман, но каждый раз бросал и выдирали листок. Роман не пишется. А виноват Хвостик.

Почему он меня не любит? Почему, почему, почему? Я не могу жить без Хвостика, но почему же он меня не любит? Как я измучился, как я устал находиться в этом безвоздушном пространстве не-любви! Словно в какой-то иной, противоестественной среде, слвно плыть в песке, слвно ходить по дну... Но что же мне делать? Мне нестерпимо свое бессилие. В этой невыносимой беде я забрался в такие дебри, где сам черт не только ногу ломает, а и руки, шею, позвоночник и хвост, рога поотшибает и зубы выбьет!

Я ведь и вправду умираю. Уж не знаю, как быть. Мне и самому не известно, что мне нужно и чем я недоволен, но в мире нет такой вещи, которая не вызывала бы во мне исступленной ненависти. В этой ненависти прорывается отчаянье, которое давным-давно стало основным состоянием моей души. А больше всего я ненавижу Хвостика.

Это ужасно, но разве я виноват? Я совсем не злой. Правда, я скрытный, трусливый и люблю соврать, но я бываю и веселым и добрым. Я никогда не жадный. Мне почти ничего не надо. Но у меня нет сил жить, когда меня не любят!

Мимо автобуса, как осужденные, как каторжники солнца, плетутся измочаленные перелески, поля с окаменевшей, прожарившейся, мумифицировавшейся рожью, разохшиеся деревни в окружении бурьяна и помоек, пустыри с торчащими из лопухов автомобильными покрывками, котлованы с рыжими, обезвоженными откосами.

В душе сидит такая погань, что я без риска могу есть мухоморы. Сколько можно бродить в этой дикой, жадной и липкой крапиве с содранной кожей? Я не в состоянии читать, писать, смотреть кино, думать и даже говорить, потому что в речи есть слова женского рода, и они напоминают мне о существовании Хвостика. Этих уродов, которые громоздятся вокруг меня, я ненавижу еще и за то, что у них Хвостика нет. У них есть только груды сумок. Когда автобус останавливается, оседает, безвольно разваливает двери, они гурьбой бросаются к выходу, сбиваются в ком в проходе и по одному отлепляются наружу, подолгу дергая свои авоськи. А оставшиеся, как подрубленные, рушатся на свободные места.

Неразделенная любовь, конечно, тяжелое переживание, но ведь дело-то не только в этом. Я не умею любить вполсилы, в свободное от работы время. Я люблю сразу на всю катушку,

и поэтому на Хвостике сошлись векторы моих страданий. Теперь меня уже ничто не интересует. Все радости и чудеса мира воплотились в Хвостике. Смена дней и ночей, лета и зимы воплотилась в Хвостике. Все, что нужно мне, и все, что я могу сам подарить людям, воплотилось в Хвостике. А я живу и каждую минуту знаю, что Хвостик обо мне и не думает. И я не нахожу покоя в этом мире, ограниченном в пространстве радиусом маршрута электрички, а во времени – субботой с воскресеньем. Судьба пережевывает меня, как таракана в будильнике.

Без Хвостика мне ничего не сделать, у меня ничего не получается! Все вываливается из рук. Пропадают друзья. Преследуют неудачи. Я совершаю глупости.

Зачем я отделился от недоумков и взял отпуск в августе? Ведь все равно я еду к ним. Зачем я разругался со своим начальником Пальцевым? Зачем я сделал то, зачем сё, зачем так, почему эдак?.. Я давно заметил, что во мне все взаимосвязано, одно от другого неотделимо. И плюсы с минусами одновременно не совмещаются. Вот и теперь: Хвостик меня не любит, и вся моя жизнь рассыпалась на бессмысленные куски.

А самое главное, что без Хвостика не пишется роман! Я не знаю – почему?! Я начинаю писать, потом перечитаю, да как раскипачусь, и листок долой. Рву, рву, рву... Тетрадка худеет, и ничего в ней нет. Ведь все чего-то пишут, и Внуков пишет, и Николай Марков, и Ричард, говорят, пишет, и Пузан, и даже – вот чудеса! – сама Толстая Грязная Свинья сочинила стихотворение, и нормально! Я чувствую, что где-то там, в ином измерении, где я живу в иной ипостаси, нагнетается давление моих невысказанных слов, растет, пухнет и уже приближается к критической массе. Надо чего-то писать, иначе я взорвусь. Мир вокруг меня гипертрофируется так, что этот ненаписанный роман породит чудовищ.

Роман свой я не хочу посвящать Хвостика, и какая власть дана Хвостика над ним, я не понимаю. Я знаю, что ту чепуху, которую бы я настрочил, я и сам бы никогда не перечитал, но так ведь это и не обязательно. Ведь там, в ином измерении, мой роман, мой мир, он останется по-прежнему настоящим, он будет продолжать жить, в нем все будет радостным и просторным, а мы бессмертными. Я хотел написать про себя и про злобных недоумков. Пусть там мы будем всегда такими, как сейчас, и пусть у нас будет столько любви, что мы вытворяли бы с ней чего угодно, и столько времени, что мы века тратили бы на пустяки и никуда никогда ни за что не спешили. В конце концов, я хотя бы успокоюсь, ибо ту энергию, которую я получил для сотворения этого мира, я не потратил на создание чудовищ.

– На Багаряке выходишь? – тормозит меня какой-то мужик. Он смотрит мне прямо в глаза, в мозг; он своими буркалами делает мне трепанацию черепа, кесарево сечение головы только для того, чтобы узнать: сойду ли я на Багаряке? Уроды, уроды... И сам я урод.

– Выхожу, – говорю я.

Из этого мира можно убежать только к злобным недоумкам. Больше некуда. Там свой космос, и я спасусь. Они, злобные недоумки, самые лучшие. Самые умные, самые добрые, самые веселые. Самые красивые. Они – мои друзья. Они меня спасут и от Хвостика, и от судьбы. Они должны меня спасти. Я не знаю, за что я их люблю. Они такие дураки! Но я бегу к ним.

Почему они должны меня спасти, я тоже не знаю. Я же им все вру. Да-да, вру. Они и не подозревают, как я живу. Я им говорю, что Хвостик меня любит, а я пишу роман. Уже много написал. Зачем я вру? Сложно объяснить. Сочувственного сопенья мне от них не надо. Просто, я думаю, что если то, чего еще нету, хоть косвенно в чем-то воплотится, то воплотиться в целом у него будет больше шансов. То есть: если мои лучшие друзья будут верить, что Хвостик меня любит, а я пишу роман, то, быть может, Хвостик меня и вправду полюбит, а я начну писать? Не знаю, так ли это, но мне хочется верить, что так.

Автобус катится мимо железнодорожного переезда, мимо ответвления дороги и тормозит у ржаво-зеленой будки на обочине. На будке виднеются следы сто лет назад стершейся надписи «Багаряк». Двери автобуса с шипеньем сжимаются гармошкой, и я прыгаю в вязкую вечернюю

жару, красную и тягучую. И вот я уже бреду, разгребая ее собою, а сзади меня нагоняет облако пыли от уезжающего автобуса. Я выбрался из города, как муха из клея.

Я иду по дороге вглубь леса и погружаюсь в дивную тишину биостанции. Тихо-тихо, ужасно тихо, беспредельно тихо, только пинькает какая-то птичка, да по инерции, замедляясь, что-то еще вращается в моей голове, гудит, жужжит и поскрипывает. Передо мной неторопливым взлетом подымается холм, а лес над ним высокий, как геостационарная орбита, и в лесу этом никогда не ступала, не сидела, не лежала нога человека.

Я взбираюсь на холм и спускаюсь с него, минуя просеку ЛЭП и снова всхожу на холм, и запахи будоражат меня, и я не могу поверить, что биостанция есть на самом деле, что я ее не придумал, что ее не украли и не снесли. Но с вершины холма я взглядом охватываю всю панораму – и луг с речкой, и перелесок, и домики за ними, и гребень плотины, и далеко-далеко сверкающую гладь водохранилища. Какое-то сотрясение проходит по островам и руинам моей души, и вот я уже мчусь вниз по дороге, и сердце – бам! бам! бам! – бренчит у меня в груди, и на таком еще огромном расстоянии я уже вижу, как две фигурки – Ричард и Пузан – перелезают заборчик вокруг биостанции, и слышу, как они кричат:

– Маза, Маза приехал!..

Злобные недоумки

А пока Маза бежит к биостанции, есть несколько минут, чтобы кое-что сообщить.

Биостанция принадлежала научно-исследовательскому институту леса, поля и луга, и сейчас, в августе, здесь находилось несколько рабочих групп, занимавшихся пустяковыми исследованиями типа «Оценка популяции полевки серой» или «Особенности развития клоповника мусорного в вегетационный период девятьсот такого-то года». Биостанция располагалась между сизым асфальтовым шоссе и узкой вертлявой речкой, заросшей ивами и сиренью. Вода в речке всегда была черной, с тусклыми искрами. На берегу стояли баня и столовка, которая одним боком уходила в ивняк. Рядом на поляне высились домики, где жили научные работники и были оборудованы лаборатории. Стены домиков выцвели и облупились, приняв неопределенную окраску. Большие окна без занавесок затягивала марля. В лабораториях на подоконниках торчали микроскопы и банки сдохлыми жуками и мухами. По периметру биостанцию охватывал заборчик – ветхий и местами поваленный. В центре возвышался шест с выгоревшим, желто-розовым, как пятка, флагом, который от слабого ветра вздрагивал, подобно собачьему языку.

Всего на биостанции проживало человек двадцать, включая и сторожа Тимофея Улыбку. Большую часть составляли лаборанты. Лаборантами являлись и все друзья Мазы, поименованные «злобными недоумками», и сам Маза. Правда, сейчас он был в отпуске, а остальные – при исполнении служебных обязанностей, но дела это не меняло. Все они, за исключением Внукова, который оказался кем-то там другим, занимались ботаникой под общим руководством кандидата наук Пальцева.

А тем временем Маза и Пузан уже появились в столовой, только теперь вместе с ними был не Ричард, который отправился искать тарелку и пропал, а Толстая Грязная Свинья.

Надо сказать, что как Пузан на самом деле не был пузаном, так и Толстая Грязная Свинья на самом деле не была ни толстой, ни грязной, ни свиньей. Как это ни прозаично, но в миру Свинью звали Антоном Барабановым, а Пузана – Витькой Филимоновым, или, как за глаза утверждали недоумки, Витькой Фиговым-Лимоновым. Свои клички, как и все клички на свете, они получили по пустякам. Так, к примеру, Пузан, который очень полюбил звать Барабанова Толстой Грязной Свиньей, на пляже у водохранилища на поверку оказался и сам застенчиво-толстоват. Конечно, это сразу гипертрофировалось в «Пузана». А сам Барабанов был просто большим, крупным, плечистым, высоким. Термин «толстая» и подразумевал эти габариты, термин «свинья» характеризовал его как личность, а термин «грязная» определял степень падения в глазах окружающих и особенно самого Витьки Фигова-Лимонова. Главной отличительной приметой у Пузана были близко поставленные, круглые и тревожные глаза, а у Барабанова – ярко-пшеничная нечесаная грива до плеч, что, по определению недоумков, придавало Свинье сходство со старой, развратной женщиной. Что же касается Мазы, то кличку свою он заработал за то, что своими сутулыми плечами умел обмазаться известкой об любую стену.

– Вот, Маза, – говорил Барабанов, вынося с кухни две тарелки с холодной, слипшейся в ком лапшой. – Нам с тобой будет чем червяка заморить.

– Червяка-то, ага, – закричал Пузан, сидевший за столом рядом с Мазой. – Червяк-то всем червякам эдакая червячина будет... Целый день его сегодня моришь. Кашами, да супами, да котлетами огромными бомбишь его...

– Живучий червячишка, – согласилась Свинья.

– Мы тут, Маза, с Николаем Марковым вывели математическую закономерность, – сообщил Пузан. – Что свинская совесть стремится к нулю, а морда к бесконечности. Обратная пропорциональность.

– Душно тут... – сказал Маза и помахал на себя ладонями. – Пойдемте с тарелками на улицу.

– Кто ест на улице – подобен собаке, – назидательно изрек Барабанов, имевший собственный интерес оставаться за столом. – Я попыю из твоей кружки...

Барабанов придвинул к себе эмалированную кружку Мазы и налил в нее из большого закопченного чайника.

– Опять кусочничаешь? – строго спросил Маза.

– Кофейный напиток, – словно не слыша, откушав из кружки, сказала Свинья. – Типически. С какавеллой и фр-косточкой.

– Пока тебя не было, Маза, Свинья стала совершеннейшим образом махровым кусочником, – поведал Пузан. – Ходит в чужих тапках, да книги чужие читает, да ест чужими ложками, а если кто справедливо протестует, то называет их «ктырями». Со стороны Николая Маркова имели место быть многократные обещания «дать в дыню».

– Николай Марков – чепуховый человек, горячая голова, – возразила Свинья. – Права морального не имеет.

– Даст в дыню, вот и все твое моральное право.

– Вы лучше расскажите, как поживаете, – предложил Маза. – А то с первых-то минут как давай окоlesiцу нести... Где все?

– Все – везде, – сказала Свинья. – Внуков на сутки ушел за хортобионтами. Николай Марков, наверное, игре на гитаре предается, а растворы вместо него Пальцеву Александр Сергеевич Пушкин готовит. Бобриска, толстопятая, у себя сидит. Витька вот перед тобой, если ты не обратил внимания...

– Да и Свинья перед тобой, – вставил Витька.

– Пальцев куда-то убежал. Ричард, наверное, у себя на кровати лежит, обижается, что мы тут без него...

– Так надо его позвать сюда, – заметил Маза.

– Тогда он еще больше обидится, что мы его раньше не позвали, – сказал Пузан.

– Ричард совсем скурвился, – продолжил Барабанов. – Начал писать рассказы из своей жизни. Стал невыносим. Страдает. Надясь беда с ним приключилась. Бобриска-то ведь в столовку почти не ходит, диетой открещивается, худеет. А как-то раз Ричард заприметил ее здесь и говорит: что, мол, Бобриска, кончились сухари под матрасом? Пошутил, то есть. Бобриска, как водится, взор потупила, да вздохнула кротко, да отвернулась, да прошептала: «О господи!..» Что тут с Ричардом было!.. Побелел, да почернел, да снова побелел, да глазами как сверкнет, да как заверещит тонким голосом: «Шуток не понимаешь, дура!..» Дернул углом рта, да бежать в полумрак.

Тут и Свинья, и Пузан, и Маза почувствовали, что где-то рядом с ними находится зона такой гробовой тишины, что даже ветер дунул туда, как в вакуум. Они оглянулись – в дверях столовки стоял Ричард.

Это был миниатюрный молодой человек с маленькими усиками, шапкой черных растрепанных кудрей и глазами, полными безмерного трагизма. В руке он держал тарелку, словно просил в нее милостыню. Кудрявый чуб упал на бровь, лицо окаменело, а глаза уставились в пустоту.

– Да что же это такое, а?.. – спросил Ричард, развернулся и, пошатнувшись, вышел вон.

Свинья помолчала и смущенно потеряла глазик, скосив другой на Мазу.

– Ричард сейчас о Барабанове и слышать не может, – сказал Витька. – Свинья-то учудила, из ботаники-то давай параллели проводить и говорит про Ричарда, что тот является мужским заростком...

– Так оно и было, – авторитетно согласилась Свинья. – Еще было мною сказано, что он – настоящий, но маленький мужчина. Ричард-то лыко в строку, да к ножу. Еле я ноги унес. И остальные части тела.

– А как Николай Марков? – спросил Маза.

– Николай Марков?.. – Барабанов почесал гриву. – Николай Марков пишет поэму. Называется «Песнь о Свинье». Рассматривает разнообразные аспекты моей деградации. Всюду ходит в пиджаке на голое тело. Надясь опять же Пальцев отлавливает его и вопрос ему в лоб: «А почему это вы, Николай, так одеваетесь?»

– А он что? – спросил Маза.

– А Николай Марков в ответ: «Потому что я молодежь». Пальцев-то ничего не отразил. С Пальцевым-то беда. Внуков с ним в конфронтацию вступил, даром что тот ему ни сват ни брат. Намедни сидим мы в лабе, букеты определяем. Пальцев подобно мышши в справочник зарылся, листал, да сопел, да палец слюнявил, пыхтел чего-то, за голову хватался. Внуков наблюдал-наблюдал да не выдержал, рукой на него махнул да говорит: «Ничего не соображает!»

– Факт, ничего не соображает, – согласился Маза.

– Да что ж такое-то!.. – неожиданно закричал Витька. – Что ж ты творишь-то, свинья проклятая!..

– Я нечаянно, – быстро сказала Свинья, отодвигая Витьке его кружку, из которой кусочничала. – И вообще, Витька... Если бы у меня были такие же мерзкие рыбы глазки, я бы ни за какие коврижки их так не выпучивал...

– Пр-р-роклятая свинья!.. – зарычал обомлевший Витька.

– Да ладно, Витька, – перебивая Пузана, примирительно сказал Маза, ибо знал, что иначе Свинья и Пузан моментально скатятся на неразрешимую, как квадратура круга, проблему: кто из них двоих является дураком. – Чего ты раскипятился... Реагируешь подобно больному психической болезнью...

– Какой еще болезнью? – спросил злой Витька.

– Манией ничтожества.

– Вот ты какой, Маза, на поверку-то! – торжественно объявил Витька и разочарованно захрипел: – Э-эх-хе-хе!..

Маза и хортобионты

Я сижу около догорающего костра. Подо мной – полено, у ног – грудa черных головней в белом воротнике пепла, где вяло зажигаются и гаснут рубиновые огни. Вокруг меня высокая луговая трава, в которой стрекочут хортобионты.

Хортобионтами называются обитатели этих самых луговых трав. Внуков целые сутки отлавливал их, каждые три часа проверяя ловушки, и рассовывал по пузатым бутылкам темного стекла, которые прозваны морилками. За эти сутки он ужасно устал и, едва пробило полночь, убежал есть и спать. А я остался.

В гости к Внукову я собрался, только когда день уже иссяк и все тонуло в синеве. С холма, откуда я спускался, было видно, как из рощи и кустов на берегу от воды подымается туман. Далеко впереди светлел хребет плотины, заросший желтой травой с розовыми разводами клевера. У подножия его торчала изгородь, чтобы, видимо, не пробрались шпионы. От моих ног до плотины вся долина шевелилась, переливалась в сумерках, а в небе, как удар подковы, засветился белый, теплый месяц. За водохранилищем черными зубцами стоял лес. Мне было весело и жутковато.

Когда я один, я отчетливо понимаю, что занимаюсь чепухой, смеюсь над ерундой, несу чушь и вообще дурак. А с недоумками все это куда-то пропадает. Я ничего не могу поделывать, но с ними мне так радостно, что я не помню ни о том, что Хвостик меня не любит, ни о том, что чертов роман не пишется. Когда я с ними, все это представляется мне такой мелочью, которую можно поправить одним движением пальца. И после этого еще долго мое отчаянье и тоска не могут вытеснить из меня легкой грусти и сожаленья, словно я оказался глубоко в своем будущем, откуда на мой сегодняшний день можно смотреть только так.

Внуков похож на старика – весь в каких-то морщинах, глаза хитрые, сутулитесь, говорит глухо, да все кряхтит, да хекекает. Убегая, он сунул мне листочек, где было стихотворение, написанное им за прошедшую ночь. Я достаю его, поворачиваю к костру и с трудом разбираю черные буквы на багровой бумаге:

*Приемник ловит мегагерцы невидимых станций.
Я верую, что где-то люди не спят,
Хотя нелепо думать об этом,
Имея возможность обрести пресловутый покой.
Наличие странных гипотез рождает
Ночных чудовищ леса,
Тревожно шумящих в кустах.
Луны не видно – несомненно, она съедена.
Звезды абсурдно неизменны,
И лишь на одной заметно движение:
Подобно двум крестам, шевеление жизни.
Конечно, там кто-то умер
И силится дать знать об этом
Иным мирам.
Больше нет никого.
Хортобионты мягкими тенями
Ползают вокруг меня
И поют свои нескладные песни.
Ветви бересклета волнующе шепчут мне:
«Са-а-адри, мана-а-адри...»*

*Часы исчезли,
Ведь будильник нельзя разыскать на лугу.
В таких случаях силы Травяной Империи
Способны играть со мной злые шутки —
Мне недоступно время.
Я нащупываю ногой хвоинку
И бросаю ее в недра костра —
Он удовлетворен переменной в моем настроении...
Мир, устав ждать моего сна, не выдерживает
И приоткрывает завесу над своими тайнами.
Чу! Слышен скрип его оси,
Видны все трещины в хрустальной тверди —
Не все прекрасно в темноте!
Но время на моей стороне —
Оно движется.*

Да-а, брат Внуков...

Вот сижу я здесь один и рад этому одиночеству. Нежный лепесток яркого света уполз на другую сторону земного шара, и я оказался напротив звезд, напротив мироздания, центром которого Хвостик не является. Жуткая перспектива ледяных тысячелетий помрачает рассудок. Я вижу исполинские зубчатые колеса Вселенной и медленно вращающиеся шестерни галактик...

Схожу с ума, факт. То ли крыша поехала, то ли глюки. Институт – научно-исследовательский, географический пункт – конкретный, время – московское, а я очутился посреди странной полночной жизни. Кто-то огромный, как слон, ползает в лесу, шевелится, дышит, да башкой трясет, да кустами трещит, да длинными ручищами за верхушки сосен цап. А в долине по серебристой траве стремительно несутся тени полупрозрачного свойства. На лугу, слепо блестя стеклами, стоит наша банька с биостанции. Луна переливается, словно новогодняя игрушка, то истаявая до месяца, то расплываясь диском. По шоссе быстро идут два шпиона – воротники подняты, шляпы надвинуты на черные очки, за ручки, подобно кастрюле, несут большую мину, которая громко тикает. В ярко-синем небе медленно и очень высоко проплывает, как рыба, троллейбус со светящимися окнами и грациозно размахивающими усами на крыше.

Ай-яй-яй, беда со мною!..

Внезапно темная тень пронесется над моей головой, и в кроне тополя у дороги я слышу сильный удар. Ствол вздрагивает, в ветвях громко хрустит, шумит, и на траву тяжело падает девушка, излучающая тонкое голубоватое сияние. Она немедленно вскакивает и принимается прыгать, пока не вцепляется руками во что-то, запутавшееся в листве. Повиснув, она несколько раз дергает ногами и снова рушится вниз, но теперь уже с бешено вертящейся метлой. Девушка прижимает ее животом к земле, а метла, отчаянно вырываясь, подпрыгивает и ездит взад-вперед.

Я, оказывается, уже бегу к дереву и коленями падаю на елозящее помело.

– Ведьма, что ли?.. – спрашиваю я недоверчиво.

– Ну, – говорит она.

Я внимательно гляжу на нее. Она усаживается на метлу задом, задирает руку и лижет садину на локте длинным и раздвоенным, как у змеи, языком. Кого-то она мне напоминает.

– Где-то я тебя видел, – говорю.

– Так я же на биостанции и работаю, препаратом. А ночью – ведьма.

– Точно! – вспоминаю я. – Тебя Таней зовут. А меня Мазой. За ненормальность.

– Сильно ненормальный-то? – интересуется.

– Порядком, – сознаюсь. – А чего ты в дерево врезалась?

– Да метла у меня старая, с норовом. Как взбесилась – так и будь любезен... Ладно, Маза, спать охота. Бери ее, да пойдем.

Мы встаем и крепко хватаем метлу за оба конца. Вброд по мерцающему ночному лугу мы идем к баньке, и та, завидев нас, как-то сжимается и грузно отпрыгивает боком, звякнув стеклом. «Тпру, гулявая!..» – строго кричит Танька, и мы забираемся внутрь.

Баня понуро ползет обратно, приминая траву, тяжело вскарабкивается на склон, из которого одиноко торчат две куриные ноги, и со вздохом садится на них. Танька из дверей выпускает метлу, и та, подобно голубю, уходит в звездный рой.

– Не опаздывай завтра!.. – ей вслед кричит Танька и оборачивается ко мне: – Пойдем, Маза, колыбельную мне споешь.

Она вдруг плавно, неторопливо прыгает с порога и летит вперед над тропинками биостанции. Завидую и страшась, я так же медленно прыгаю сам. Мое тело словно попадает в тягучий, но легкий поток, и я, разгребая синеву позеленевшими руками, плыву за Танькой и вижу, как моя бледная тень скользит по траве.

Мы пролетаем мимо лабы, в глубине которой тускло бликуют микроскопы, мимо домиков Пальцева и Тимофея Улыбки и друг за другом ныряем в открытое окошко. Танька опускается на свою кровать и натягивает на себя смятое одеяло, а я пристраиваюсь на стул, и на меня незаметно наваливается моя обычная тяжесть. Я озабоченно проверяю, не потерял ли я тетрадку, и Танька, видя ее в моих руках, спрашивает, что это.

– Пишу роман, – говорю.

– Дай почитать, – требует Танька, и тут же тетрадь оказывается у нее. Я открываю рот, чтобы опротестовать, но вместо этого сообщаю:

– Я спою тебе колыбельную, которую сочинил для своей любимой, правда, ей не понравилось, но уж извиняй.

– Стихов, что ли, не любит? – ревниво спрашивает Танька.

– Меня, – грустно объясняю я.

– Ладно, не ной, – отрезает она. – Это все ерунда. Давай пой свою песню.

Песня моя немножечко нескладная и, к сожалению, почти без смысла. Это лишь теплые, ласковые слова, целью своей преследующие создание комфортных для сна условий.

*Баю, баюшки, баю,
Не ложися на краю,
Придет серенький волчок
И укусит за бочок.
За окном темным-темно,
Милый Хвостик спит давно,
Спит и лось, и слон, и кит,
Перес да Куэльяр спит.
Светит полная луна,
Мне не спится ни хрена.
Всех, кто нынче были злы,
Ночью скушают козлы.
Ночью встанут мертвецы,
Будут трескать огурицы,
А несчастный божий дух
Будет чертыхаться вслух.
Крикну, землю обойдя:
Нет прекраснее тебя!*

*Нет прекраснее лица,
Ламца, дрица, гоп-ца-ца.
Баю-баю, баю-бай,
Поскорее засынай...*

Я умолкаю и гляжу на Таньку. Она уже спит. Значит, мне пора уходить. Только осторожно, на цыпочках!..

Маза и ведьмаки

Хлопая себя по животу, я выхожу из столовки. На биостанции пусто, все работают. Утро яркое, как электросварка. Висят стрекозы, в кустах ходит ветер. Откуда-то появляется Танька-ведьма и идет ко мне. На ней джинсы и майка, на глазах козырек кепи.

– Сколько тебя ждать-то можно? – спрашивает.

– А откуда я знал, что ты ждешь?.. – удивляюсь.

– Знать надо, – ворчит. – Пойдем, дело есть.

– Какое дело? – спрашиваю.

– Тебя на ЛЭП звал Тимофей. Он решил, что это ты обозвал его пса Кондея водомеркой, щитнем, водяной блохой.

– Вот только собак я еще и не обзывал, – говорю.

Мы вместе направляемся к шоссе. Танька достает мою тетрадь и отдает мне.

– Прочитала? – интересуюсь.

– Ну, – отвечает она, и я не понимаю: она врет или как?..

– Какие эпизоды тебе понравились больше всего? – строго спрашиваю я. – На каких героев ты хочешь быть похожа?

– Отстань, а? – злится Танька. – Белиберду какую-то настрочил...

Я обижаюсь и замолкаю. Мы выбираемся на шоссе и двигаемся к ЛЭП.

– Приворотное зелье для Хвостика делать будешь? – спрашивает Танька.

– Какое зелье? – с неохотой бубню я.

– Совсем дурак, да?

– Да.

– Ну, все, не ной.

– Не умею я зелье делать, – говорю.

– Я, конечно, помогу. Только это сложно.

– Уж просвети, – бурчу.

– Слушай, Маза, не выделывайся, – снова злится Танька. – Понял, да?

– Понял, да, – огрызаюсь я.

– Вот скажи: что у тебя в жизни любовь изменила?

– Ничего не изменила, – говорю. – То есть все. Жить не хочу.

– Нет, не это.

– А я откуда знаю – то, не то! Знаешь – так сама говори!

– Не ори, понял?!

– Понял!

– Вот так... ну, ты стал добрее, красивее в душе? Можешь совершить благородный бескорыстный поступок?

– Могу, – соглашаюсь, застеснявшись.

– Значит, что с тобой произошло?

– Беда.

– Произошло очищение, усвоил? Ведь любовь, Маза, алогична только внешне. В действительности же она очень тонко отрегулирована. Не случайно же к ней способны лишь сложно организованные натуры. Будь она хаосом, она бы их разрушала.

Мы поднялись на холм. Две птицы, вереша, пронеслись над нами. На асфальте валялись шишки. Из-за леса, подобно медведю из берлоги, выбиралось толстое белое облако.

– Молчи, рот закрой, – говорит Танька. – Основной принцип приворотного зелья таков. Если человек любит, то очищается. Душевно, естественно. И, наоборот, если очищается, то и любит.

– Ну, – поддакиваю заинтересованно.

– Не нукай, не оседлал... Процесс возбуждения любви идет в четыре этапа. Первый – приготовление зелья-экстракта из дурманил, эмоциогенов и кровососных трав. Второй – самоочищение. Там свои фазы, но о них – потом. Третий – очищение экстракта. То есть, добавляешь в него свою кровь и смесь пропускаешь через перегонный куб на огне семилетнего сухостоя. Тогда и получается непосредственно зелье. Любовь и кровь – это тебе не банальная рифма, а отраженное в идиоме поэтическое осмысление глубинной сущности явления. И четвертый этап – очищение возлюбленной. Тихонько подсунешь своему Хвостикку зелье, она выпьет, чувства окрепнут, суенравие сойдет на нет, и разбуженное сердце потянется к тому, чьей кровью возбуждено. Просто?

– Ну, да... – соглашаюсь, подумав.

– Вот тут я тебе травы выписала, по латыни и просторечные названия, – говорит Танька, доставая какую-то бумажку. – Со своими дураками собери их для экстракта. Если засомневаешься – посмотри по определителю или сходи к Пальцеву. Все?

– Все, – киваю я. – Вот и ЛЭП.

Танька улыбается мне, делает ручкой и разворачивается. Отойдя немного, она вдруг прыгает вверх, превращается в птицу и над дорогой улетает обратно к биостанции, громко хлопая крыльями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.